



ЦВЕТ В ГЛУБИНЕ ПОЗОЛОТЫ

Дмитрий Скворцов

Дмитрий Скворцов

Цвет в глубине позолоты

«Автор»

2026

Скворцов Д. И.

Цвет в глубине позолоты / Д. И. Скворцов — «Автор», 2026

Есть люди, из которых цвет идёт сам, как тепло от свежего хлеба, — рядом с ними хочется греться, не спрашивая, надолго ли. Он умеет делать цвет из ничего. Она умеет его ловить и не отпускать. Между ними — третий, вечно лишний и вечно нужный: единственный, кто считает, сколько дней осталось до конца везения. Остальные двое не считают. Им некогда — слишком заняты тем, что живут. В городе, где воздух пахнет щедрыми обещаниями «на днях», это сходит с рук на удивление долго. Но у всякой щедрости есть дно. Именно там, вежливо, не торопясь, дожидается нечто с бесконечным терпением.

© Скворцов Д. И., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. SOLUTIO	5
Глава первая. Город на просвет	5
Глава вторая. Человек, который поймал огонь	7
Глава третья. Четверги	9
Глава четвёртая. Гроссбух, которого он не вёл	10
Глава пятая. Трое на набережной	12
Глава шестая. Осмотр	14
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Дмитрий Скворцов

Цвет в глубине позолоты

Часть первая. SOLUTIO

Глава первая. Город на просвет

В этот час город можно взять на пластину целиком, и он не шелохнётся, – а значит, час этот мой, и ничей больше, и надо успеть, пока не проснулись и не разобрали его по кускам.

Свет приходит сбоку, низко, как заглядывает в комнату тот, кто не хочет будить: на цыпочках, через самое дальнее окно. И до чего же он воспитанный в такую рань – он ничего не берёт себе, только отдаёт. Кирпич, который днём просто красный и этим доволен, сейчас никакой не красный, а цвета остывшего чая – того самого дна, где заварка сдалась и легла спать. Черепицы примеряют синеву, ещё не решаясь: так девочка примеряет мамину брошь перед зеркалом и кладёт на место, если скрипнет дверь. А дым из первых труб идёт вверх ровными свечками и наверху вдруг желтеет, весь разом, и я всякий раз думаю, что там, над крышами, кто-то большой и рассеянный развёл в воздухе щепотку охры, да и забыл размешать. Я его не виню. Я бы тоже забыла. Слишком красиво, чтобы доводить до конца.

Это самое лучшее время, и мне за него немного стыдно, как за всякое счастье, которое не с кем разделить. Потом придут люди и принесут свои цвета – платья, вывески, лошадей, – и всё перемешается в тот общий бурый тон, в какой к полудню сходятся любой город; к бурому сходятся все краски, если водить по ним кистью слишком долго и слишком старательно. Но сейчас-то ещё рано, сейчас ещё ничего не смешалось, и каждый цвет стоит сам по себе и ждёт, чтобы его назвали. Я называю. Тихонько, губами, без голоса: вот ты – чайный, а ты – молочный в олове, а ты, наверху, – охра, которую забыли. Назвать – это ведь почти как удержать. Почти. На «почти» я согласна, мне много не надо.

Река внизу лежит и никуда не течёт – или течёт, но так медленно и лениво, будто ей, как и мне, жалко, что утро кончится. По ней стелется пар, и вот тут я каждый раз спорю с книжками: в книжках пар белый, а он вовсе не белый. Снизу он розовый, потому что подхватил зарю с воды, а сверху сизый, где начинается тень моста, и между розовым и сизым нет никакой черты – один делается другим так хитро, что, сколько ни гляди, не поймашь той секунды. А поймать хочется. Мне всегда хочется поймать именно то, чего поймать нельзя; за это меня в детстве бранили, а я не понимала за что.

На той стороне кто-то оставил на ночь простыни сушиться, и они висят теперь не совсем белые: снизу, по самому краю, у них завелась прозелень – там, где сырость поднялась от травы. Пустяк, конечно. Никто и не заметит: подумаешь, белое чуточку зазеленело понизу. Роса, трава, тень – мало ли отчего. Я замечаю просто потому, что я такая: у меня глаз цепляется за всё, что зеленеет там, где ему бы оставаться белым. Но сегодня утро слишком доброе, чтобы придавать этому значение, и я не придаю. Пусть себе зеленеет. Красиво же.

Свет поднимается чуточку выше – и всё. Охра над крышами гаснет; дым снова делается просто дымом; синева сознаётся, что она обыкновенная синева; – утро становится днём. Мгновение кончилось, и никто его не снял, даже я, – оно осталось только во мне, а я плохой архив, у меня внутри всё тоже со временем сходит к бурому.

Ну и пусть. Зато я успела назвать. Скоро откроются ставни, застучит первая тележка, и город наполнится своим будничным цветом, тем самым, за который его любят и в котором ровным счётом ничего не разглядеть. А пока он стоит передо мной весь на просвет, от воды

до забытой охры, – такой хороший и такой ненадолго, – и не знает, что на него смотрят и что кто-то уже придумал ему сто имён.

Глава вторая. Человек, который поймал огонь

Я познакомился с Джеймсом в тот вечер, когда он едва не сгорел на глазах у двухсот человек, и – что гораздо реже прощаешь – сделал это красиво.

Нас свело место, которое сводит людей вроде нас: публичная лекция с опытами; куда порядочная публика ходит, как в театр, – за тем же острым чувством, что где-то рядом сейчас громыхнёт, только приличнее. У меня были свои причины бывать в подобных залах, и причины эти, если говорить начистоту, сводились к тому, что я всё ещё не вполне простился с человеком, которым собирался стать; ходить на чужие опыты – дешёвый способ погреть руки о костёр, который сам не развёл. Я садился всегда с краю и в задних рядах, откуда удобно смотреть не на сцену, а на людей, глядящих на сцену. Это, признаюсь, занимает меня больше любой химии. Лица в темноте зала, обращённые к свету, теряют охрану – им кажется, что раз они смотрят, то на них не смотрит никто. Наивные. На них смотрю я.

В тот вечер показывали что-то с горючими парами и кислородом – не важно, что именно; важно, что на длинном столе стояли колбы, горелки, и над одной из горелок лектор, человек увлечённый и оттого неосторожный, держал сосуд с жидкостью, которой в присутствии открытого огня держать не следовало. Я понял это раньше, чем понял, что понял. Так у меня всегда: сначала где-то под рёбрами делается холодно, и лишь потом голова догоняет и подставляет слова. В зале двести человек любовались; я один смотрел на руку лектора и на то, как дрожит в его пальцах горлышко, и вёл в уме короткий, неприятный счёт – расстояние, наклон, сколько осталось, – тот счёт, который у меня выходит сам собою, как у другого выходит напеть мотив.

Счёт сошёл плохо.

Сосуд качнулся, жидкость плеснула через край – и воздух над столом занялся. Не взрыв, нет; хуже, потому что тише: пламя пошло по пролитому, побежало к краю стола, к деревянному, к занавесу, и лектор отдернул руки, как всякий отдёргивает руки от огня, – то есть сделал единственное, чего делать было нельзя, оставив огонь без хозяина.

Случилось всё разом, а в памяти у меня отчего-то лежит по порядку, будто кто-то потом, задним числом, навёл там опрятность.

Я встал. Это надо сказать сразу, потому что потом мне будет неловко хвалить себя, а тут я имею право: я не оцепенел. Я уже знал – тем холодным знанием под рёбрами, – где сейчас пойдёт огонь и что если сдёрнуть со стола вон ту суконную дорожку, на которой всё расставлено, то расставленное полетит на пол, но пламя лишится дороги к занавесу. Я знал это ясно, как знаю сумму столбца. И я двинулся к проходу – считающий человек, у которого в голове уже готов расчёт спасения и совершенно не готово тело, потому что тело моё всю жизнь просидело за конторкой и вставало главным образом затем, чтобы подлить чаю.

А он уже был там.

Я даже не увидел, откуда он взялся, – просто на месте, где секунду назад был пустой воздух, оказался светловолосый молодой человек без сюртука (он сбросил его на ходу, я потом нашёл этот сюртук под скамьёй, аккуратно, будто снятый перед сном), и этот человек делал руками то, чего я в жизни бы не рассчитал, потому что мой расчёт берёт бы меня, а его – нет. Он взял горящее голыми ладонями – тот сосуд, источник, – сгрёб его вместе с пламенем, как сгребают что-то живое и вырывающееся, прижал к груди, к рубашке, и пошёл с этим к чану с песком, стоявшему у стены на такой именно случай, до которого у двухсот человек за все годы, должно быть, ни разу не дошли руки. Он нёс огонь. По его рукавам бежал синий низкий пламень, тот самый спиртовой, почти прозрачный, что обманывает глаз и жжёт всерьёз, и он шёл сквозь него ровным шагом и – я видел, я был уже близко – улыбался.

Вот тут я его и прочёл, в первый раз, поперёк всего, что происходило.

Улыбка была не геройская. Геройскую я бы не запомнил – геройские все на одно лицо. Эта была виноватая. Левым углом чуть выше правого, будто он извинялся – перед лектором, перед публикой, перед самим огнём – за то, что вышло так неловко и что вот приходится. «Простите, что я тут распоряжаюсь, – говорила эта улыбка, – сейчас всё уберём, не беспокойтесь». Человек тушил на себе пламя и стеснялся, что причинил всем беспокойство. Я такого прежде не встречал и, честно скажу, растерялся сильнее, чем от самого огня.

Песок сделал своё дело. Я подросел ровно настолько, чтобы опрокинуть на его руки и грудь то, до чего дотянулся, – кувшин с водой для лектора, стоявший на кафедре; я держал его так, что побелели костяшки, – и в этом состояло всё моё участие в спасении двухсот жизней: я вовремя подал воду. Считающий человек в решительную минуту сделал ровно то, на что был годен, – оказался полезен на вспомогательных ролях. Ирония, которую я оценил позже; в ту минуту я просто лил воду на чужого мне ещё человека и следил, чтобы огонь погас весь, до последнего синего язычка, потому что синий язычок – самый лживый, прикинется погасшим и вспыхнет опять.

Когда всё кончилось и зал загремел – с тем запоздалым, стыдливо-восторженным шумом, каким публика хвалит за только что пережитый ею испуг, – он повернулся ко мне. Руки у него были плохи, и я знал, что к ночи будет хуже; и он знал, но смотрел не на руки. Он смотрел на меня с любопытством, почти весёлым, и сказал первое, что я от него услышал, – и по чему сразу понял, что пропал, что теперь этот человек так или иначе станет частью моего счёта, надолго:

– Вы ведь считали, – сказал он. – Я видел. Вы уже знали, как всё повернётся, ещё до того, как повернулось. – Он поглядел на свои ладони так, словно они принадлежали кому-то другому, и он их слегка жалел. – Я вот не умею. Я всё как-то... сразу.

«Сразу» – это слово я потом узнаю с изнанки. Тогда оно показалось мне обаятельным. Он и был обаятелен, невыносимо, той обаятельностью, что не оставляет тебе выбора: при таком человеке ты либо делаешься лучше, чем ты есть, либо начинаешь считать, во сколько тебе это обойдётся.

Я, разумеется, начал считать.

Но, ведя его под руку из зала – он шёл легко, будто не он только что горел, и по дороге успел спросить у лектора, всё ли цело и не ушибся ли тот, и утешить его, растерянного, двумя словами так, что бедняга приободрился, – ведя его к выходу, я поймал себя на неуместной, глупой мысли, и мысль эта была вот такая. Есть люди, которые берегут себя, потому что знают себе цену. Есть те, что не берегут, потому что цены себе не знают. А он не берёт себя потому, что цена эта казалась ему неисчерпаемой. Так не жалеют воды у реки. Так не считают дни в начале лета.

Я тогда не довёл эту мысль до конца – мы вышли на воздух, и разговор пошёл о другом.

Глава третья. Четверги

Он позвал меня сам, дня через три после пожара, — прислал записку, короткую, без церемоний: приходите, дескать, в четверг, я скверно играю в карты, а вы, сдаётся мне, играли бы хорошо. Внизу, вместо подписи, — росчерк вроде кляксы, будто перо стряхнули не глядя.

Я чуть не не пошёл. У меня в четверг были свои четверги — контора, потом чай в одиночестве, потом сон, — и приглашение это нарушало заведённый мой порядок так бесцеремонно, что я минут десять сочинял вежливый отказ. Не отправил. Любопытство пересилило привычку — редкий в моей жизни случай, и, оглядываясь, я рад, что он тогда случился.

Дом его оказался таким, каким я, зная его один вечер, уже мог бы вообразить, но не вообразил в полной мере. Ни одной вещи на своём месте: книги стопками прямо на полу, вперемешку с колбами, где в мутной жидкости, кажется, давно уже ничего не происходило; на стуле — сюртук, тот самый, что я находил под скамьёй, всё ещё не повешенный; стол, за которым нас ждали карты, носил на себе следы стольких его опытов, что сукно местами отливало зелёным, будто само выросло из-под столешницы.

Колоду он держал в ящике вперемешку с пипетками. Карты у него все были в пятнах — не грязных, цветных, аккуратных даже, будто он раскрашивал их нарочно, — и я, беря взятку, всякий раз пачкал пальцы то синим, то жёлтым. Он путал козыри, забывал, чей ход, и ничуть не огорчался проигрышу; напротив, проигрывая, смеялся охотнее, чем выигрывая, — будто самой игры ему было довольно, а её исход — дело десятое.

Мы засиделись за полночь. Я ушёл от него в дурном настроении относительно завтрашней конторы и на редкость хорошо — относительно всего прочего, и по дороге домой поймал себя на мысли, что жду уже следующего четверга.

Так у меня в неделе завелась своя, отдельная от всех прочих, зарубка — и я, человек, который всю жизнь вёл счёт всему на свете, ни разу не пожалел, что эту одну статью так и не сумел свести к пользе или убытку. Она просто была. Как бывает погода.

Глава четвёртая. Гроссбух, которого он не вёл

Я умею считать людей.

Не так, как считают в конторе, – не столбцом и не до третьего знака; хотя и так тоже, за это мне платят, и к вечеру у меня в глазах стоит резь человека, весь день сводившего чужие деньги при чужой, экономной лампе. Но это ремесло, ему выучиваются. А другому я не учился. Я просто вижу, где у человека не сходится.

Гляжу на лицо – и слышу, в каком месте оно фальшивит. Вот человек говорит «рад вас видеть», и всё в нём подписалось под этими словами, кроме одной ленивой мышцы у левого глаза, которая подписи не поставила. Вот дама смеётся – смех настоящий, до самого доньшка, – а руки сложены так, будто держат что-то, что нельзя выронить при гостях. Люди воображают, будто прячутся в слова. На деле они прячутся от слов, а тело тем временем всё выкладывает на прилавок, как приказчик, которого забыли предупредить, что нынче торгуем себе в убыток.

Долго я думал, что это удобно. Потом – что тяжело. Теперь не думаю никак: это есть, как есть у меня карие глаза, широкие плечи и рост чуть выше, чем нужно тому, кто всю жизнь мечтает не привлекать внимания. Плечи, впрочем, обманывают лучше всего: по ним меня записывают в люди основательные, кряжистые, из тех, что молчат от избытка силы. Молчу я от избытка увиденного, а сила ушла в глаза, – но кто станет это объяснять.

Из-за этого должно быть, я и ушёл в числа. Я ведь собирался быть другим человеком – в том возрасте, когда собираются, я собирался открывать, а не сводить открытое другими. Мечта была справедливая и как раз по мне. Но у мечты нет графы «содержание», а у жизни есть, и графа эта заполняется всякий раз, спросив тебя или промолчав. Я выбрал графу – так выбирают многие, тут и рассказывать не о чем. Разве что последствие, о котором не предупреждают: тот, кто сдал свою лабораторию за верное жалованье, потом всю жизнь узнаёт по одному взгляду и таких, как он, и таких, каким мог бы стать сам. Долгая это выучка. Она началась задолго до Джеймса и к встрече с ним была уже при мне, готовая, как готов инструмент у мастера прежде всякой работы.

Так что его я прочёл сразу, ещё у чана с песком. Но прочесть человека и завести на него счёт – вещи разные; у нас между ними легло несколько недель, не больше. Он затащил меня в свою жизнь с той же лёгкостью, с какой затаскивал всех: не прилагая усилий, просто оставляя дверь открытой и искренне удивляясь, если кто-то медлит войти. Скоро я знал его дом, его смех, его повадку – и, против воли, само собою, повёл ту опись, какую он за собой не вёл никогда.

Он не умел вести ничего скучного. Считать для него было почти святотатством: считать значит допустить, что чего-то может не хватать, – а этого он не допускал. Я допускал за нас двоих. И то, что я насчитывал у него, было, надо сказать, прекрасно. У Джеймса всё сходилась, до последней мелочи. Был дар – не мой служебный фокус, а настоящий, тот, за который отдают жизнь и чаще всего не выторговывают ничего, – дар делать цвет: он брал серый порошок цвета никакого, растворял, ждал, и из мутной воды поднималась синь такой глубины, что смотреть было больно, или зелень, от которой холодело под ложечкой. Была та, что любила его крепко, руками и делом. Был, наконец, я – чего бы это ни стоило в общем итоге, а кое-чего стоило. И было самое дорогое из того, что человек носит, не замечая: время. Много времени. Целая ровная жизнь впереди, непочатая, как нераспечатанная колода, в которой ещё все масти и все партии.

Радуйся да закрывай книгу. Я и радовался. Но мой дар не умеет радоваться до конца – он всегда оставит одну графу открытой и туда косится. И, глядя на всё, что у Джеймса так славно сходилась, я косился: где не сойдётся? Не оттого, что желал беды. Оттого, что где чересчур ровно, там рука сама тянется пощупать, крепко ли держится.

Держалось на честном слове. На множестве честных слов, которые он раздавал легко и в минуту раздачи верил каждому. В его передней всегда кто-нибудь медлил у порога – облагодетельствованный обещанием: «непременно, на днях», «завтра же займусь», «дайте только рукам зажить». Уходили утешенные. На подоконнике у него месяц стояла склянка с раствором, забытая. За месяц по стенке вырос кристалл – с ноготь, безупречный. Джеймс, проходя, всякий раз обещал ему довести опыт на неделе. Кристалл рос и без него. Он вообще, я заметил, рос охотнее без хозяина, – а хозяину оставалось им любоваться, да и любованье откладывать на потом, как откладывалось всё, что было слишком хорошо, чтобы спешить.

Тогда мне и сделалось впервые холодно. В тёплой комнате, у жаркого камина, подле самого тёплого человека, какого я знал. Он только что затворил дверь за очередным просителем – «да-да, голубчик, на той неделе всенепременно» – и обернулся ко мне с улыбкой, что для целого света значила «ну наконец-то мы одни», а для меня, читавшего её как открытую колоду, значила что-то, чему у меня не было ещё имени.

Так мёрзнут не от сквозняка. Так мёрзнет тот, кто считает чужое богатство и вдруг видит, что владелец не знает ему счёта. И делается не завидно – делается страшно за него. Потому что то, чего не берегут, уходит первым; это не примета и не суеверие, а скучная арифметика, которую попробуй-ка предъяви человеку, не чувствующему убытка. Попробуй скажи богатому в разгар лета, что зима уже считает его дни. Он засмеётся и нальёт тебе ещё. И будет по-своему прав: лето стоит, тепло, колода в руках не почата.

Я не стал доказывать. Снял очки – не чтобы лучше видеть, вижу я и без них слишком хорошо, а чтобы дать глазам минуту темноты и хоть эту минуту не читать ничего, – поглядел на друга, у которого всё сходилось, и промолчал.

Глава пятая. Трое на набережной

В тот город, что она снимала на рассвете пустым, я впервые вышел с ними в разгар дня – когда всё уже смешалось в свой будничный тон и ничего, казалось бы, нельзя разглядеть. Оказалось, можно. Если рядом идут эти двое, разглядеть можно многое; беда лишь в том, что не всё из увиденного хочется потом забыть.

Мы шли по набережной, той самой, вдоль воды, что днём совсем не та, какой бывает в шесть утра: вода стала обыкновенной, серо-зелёной, деловой, по ней тащились баржи, и пар над ней больше не спорил с книжками – просто пар. Но их это не касалось. Есть люди, которые несут своё освещение с собой, и им безразлично, что там на небе; Джеймс был такой, а рядом с ним и она делалась такой, будто он одалживал ей свою способность светиться, а она брала, ничуть не смущаясь, потому что своё отдавала ему тем же порядком.

Я тогда ещё плохо её знал. Я не мог её сосчитать. Со мной так почти не бывает – обыкновенно человек открывается мне в первые же минуты, весь, до неудобного; а она не открывалась. Не запиралась нарочно – просто читалась не сразу, как читается не сразу почерк умного человека, который писал быстро и для себя. Я ловил в ней то одно, то другое и не сводил в целое. Вот она серьёзна – по-настоящему, до строгости: остановилась, подняла свой аппарат, что таскала с собою повсюду в потёртом футляре, и стала смотреть в него на что-то у воды с таким лицом, с каким хирург смотрит в рану, – всё в ней собралось, отвердело, ушло в это смотрение. А через минуту Джеймс сказал ей что-то на ухо, и всё отвердевшее разом опало, и она захохотала – совершенно по-детски, – и стала дурачиться с ним наравне, так что уже нельзя было понять, кто из них двоих затеял и кто кого подначивает.

Вот это меня и сбивало. С Джеймсом всё было ясно: он дурачился, потому что иначе не умел, – серьёзность была ему тесна, он её сбрасывал, как сбросил тогда сюртук перед огнём. А она дурачилась, уже побывав серьёзной минуту назад, и я видел, что она в любую секунду может вернуться туда, к своему хирургическому смотрению, стоит ей захотеть. Она владела обоими берегами. Он жил на одном. Тогда я не придавал этому значения – просто отметил, как отмечаю всё, и занёс в ту графу, куда заношу непонятое, чтобы вернуться позже.

Они принялись за игру, которую, как я понял, вели давно и на ходу: называть цвета неправильно. Она показывала на что-нибудь и говорила нарочно не то – про кирпичную стену: «фисташковая», про рыжую собаку: «васильковая», – а он должен был немедленно оправдать её ложь, доказать, что стена и впрямь фисташковая, если прищуриться. И он доказывал, серьёзно, с той убедительностью, с какой умел говорить о цвете по-настоящему, потому что цвет был его ремеслом; выходило, что он своим даром обслуживает её выдумки, тратит настоящее знание на то, чтобы её вздор сделался правдой. Ему это, видно, ничего не стоило. Он вообще, я заметил, охотнее всего тратил себя на то, что ничего не стоит, – на чужую радость, сию минуту, на мелкую, сверкающую, немедленную отдачу; а на то, что окупилось бы позже, но требовало терпения, у него как-то не находилось.

– А это? – Она ткнула пальцем в реку, в самую её деловую серо-зелёную гладь. – Это какого цвета?

Он поглядел на воду долго, серьёзнее, чем на всё прежде. Я думал, он опять сплетёт что-нибудь блестящее. Но он сказал просто:

– Это цвета «потом». Смотри: он есть, а руку опустишь – и нет его, одна муть. Всё, что настоящего цвета, – оно всегда чуть-чуть «потом».

Она засмеялась и сняла его – быстро, не готовясь, – а я не засмеялся. Мне сделалось не по себе от этих слов, и я долго не мог понять отчего; они ведь были просто милым вздором, под стать игре. Он назвал свой собственный цвет и не узнал его. Так человек порой произносит

вслух своё будущее, приняв его за шутку, и смеётся вместе со всеми, и громче всех, – потому что откуда же ему знать.

Мы дошли до конца набережной, где начинается тот мост, под которым по утрам сходятся розовое и сизое. Днём мост был просто мост. Она остановилась, оглянулась на пройденный путь – на воду, на баржи, на нас двоих – и сказала, ни к кому не обращаясь, тем тихим голосом, каким говорят не собеседнику, а себе:

– Хорошо бы это всё как-нибудь удержать.

– Куда оно денется, – сказал Джеймс и взял её под руку – не глядя, не нащупывая, как берут то, что и так всегда под рукой.

Есть слова, которые в минуту, когда сказаны, не имеют веса, а потом, много спустя, оседают на дно и лежат там камнем. Я тогда снял очки, протёр их без надобности и надел снова, и догнал их. О реке мы в тот день больше не говорили. Говорили о другом, и вечер был хорош, и я всё это помню по отдельности, каждый цвет. За это её умение – называть и почти удерживать – я, кажется, и полюбил её после как сестру. Она научила меня смотреть. Жаль, что смотреть я и так умел; чему бы мне у неё выучиться – так это удерживать. Но этому она не выучила и себя.

Глава шестая. Осмотр

Вечер. Ты один, и это хорошо. Днём тебя слишком много кому нужно, а вечер – твой; вечером можно наконец ничего не делать как следует, обстоятельно, с наслаждением. Ты любишь этот час, когда лампа зажжена, а работать ты ещё не начал и, честно сказать, не начнёшь, – но начать собираешься, и это почти то же самое, даже лучше: намерение чище поступка, в нём нет ни единой ошибки.

На подоконнике стоит склянка. В склянке – раствор, который ты поставил когда-то, и по стенке вырос кристалл, красивый, как маленький собор. Ты подходишь к нему каждый вечер, как ходят поглядеть на спящего ребёнка, – и каждый вечер говоришь себе: завтра. Осталась-то самая малость – выпарить, снять, закрепить оттенок, и тогда получится тот цвет, которого ещё нет на свете, твой цвет; тот, ради которого всё и затевалось. Ты держишь его в голове так ясно, что почти видишь: зелёный, но не любой зелёный, а тот единственный, глубокий, живой, от которого у людей защежит в груди и они не поймут отчего. Ты подаришь его ей. Ты дашь его ей в руки, и она сделает им что-нибудь такое, чего без тебя не было бы на свете, и вот тогда – тогда всё сойдётся окончательно.

Завтра. Сегодня остаётся только посмотреть.

Ты и смотришь. Смотреть – тоже ведь труд, скажешь ты себе, и почти поверишь. Кристалл растёт без тебя, и это немного обидно и очень удобно: он справляется сам, значит, можно не торопить. Всё лучшее в твоей жизни как-то справлялось само. Тебе везло – не в мелочах, в мелочах как раз не очень, а в крупном, в главном: главное приходило к тебе и оставалось, не спрашивая с тебя платы, будто ты ему чем-то заранее мил. Так пришла она. Так пришёл этот твой странный молчаливый друг, что смотрит на тебя, как считают деньги, и молчит, – а ты его любишь, и он тебя, хоть вы об этом и не сговаривались. Так пришёл и дар – сам, ни за что. Когда всё главное дарят, поневоле уверуешь, что оно и не кончается. Что колода полна.

Ты подносишь палец к склянке – и отдёргиваешь.

Стекло холодное. Холод не уличный, а тот, другой, что идёт из глубины, как от камня в погреб. И палец, которым ты тронул, тоже холодит – не с поверхности, а откуда-то из-под ногтя, из середины кости, коротко и остро, будто там, внутри пальца, на миг что-то проступило и спряталось.

Ты смотришь на свои руки.

Они всегда в цвете – это ремесло, его не отмыть: синь въелась в складки, зелень поселилась у ногтей; ты давно не помнишь их чистыми и не хочешь; тебе нравится носить своё дело на себе. Но сейчас у самого основания ногтя, на большом пальце, ты видишь не пятно. Пятно ты бы узнал. Блеск. Крошечная грань, поймавшая свет лампы, как ловит его край окна, – там, под кожей, что-то маленькое и правильное отразило огонь и погасло, стоило тебе повернуть руку.

Ты поворачиваешь руку туда-сюда. Не находишь. Кожа как кожа, цветная, твоя.

Ну вот, говоришь ты себе. Померещилось. Устал; весь день на ногах, к тому же эта игра у реки, вы находились, насмеялись, – глаз и устал, ловит блики. Завтра на свежую голову поглядишь, и ничего не будет. Всегда ведь так: чего испугаешься к ночи, того наутро и не сыщешь. И потом – что бы это могло быть? Ты химик, ты знаешь, что бывает с руками и чего не бывает; под кожей не растёт стекло, это уж извини.

Ты отходишь от окна и почти сразу забываешь – у тебя лёгкая память на неприятное; счастливое свойство, тебе многие могли бы позавидовать. Ты садишься к лампе, придвигаешь бумаги, думаешь, что вот сейчас поработаешь, – и не работаешь, а сидишь и глядишь в тёплый круг света и думаешь о ней, о том цвете, что подаришь, о том, как всё у тебя хорошо и как будет ещё лучше, надо только обязательно собраться, на днях.

За окном, в темноте, над спящим городом что-то происходит с воздухом. Ничего заметного: так, с вещами, за которыми не смотрят, всегда что-нибудь происходит. Цвет ночного неба, всегда над этим городом густо-синий, к утру делается у самого края чуть-чуть не тот – с прозеленью, тонкой, как на белье, забытом в росе. Никто не смотрит. Тот единственный глаз, что умел бы это назвать, сейчас закрыт: она спит и видит во сне что-то доброе. А ты сидишь у лампы спиной к окну, и тебе тепло, и ты уверен – совершенно, до глубины, безмятежно уверен, – что впереди у тебя ещё очень, очень много времени.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.